

Человек-творец в повестях Василия Коньякова

По моему ощущению, одной из самых светлых личностей среди нашей сибирской пишущей братии был **Василий Михайлович Коньяков**. И в литературно-художественном, и в чисто человеческом плане. Во всяком случае, мало в ком из писателей-сибиряков можно было обнаружить столько душевности, внутреннего обаяния и подлинной интеллигенции, как в нем. Заметный след и влияние оставил он и в моей жизни.

Василий Михайлович оказался первым писателем, которого я увидел, что называется, живьем. Именно встреча с ним весной 1977 года стала точкой отсчета в моей литературной судьбе.

До этого я уже пробовал себя и в прозе, и в критике. Втайне надеялся, что я прозаик, но почему-то охотнее и чаще публиковали в газетах мои рецензии и книжные обзоры. А потому хотелось показать свои рассказы настоящему писателю. Книги Коньякова я уже читал и был поражен как их социальной зоркостью, так и лиричностью и живописностью. Более того, на только что вышедший очередной сборник Василия Михайловича я успел опубликовать в областной газете рецензию, где и выразил свое искреннее восхищение. Так что в выборе кандидатуры «настоящего писателя» у меня сомнений не было никаких.

В Союз писателей я пока дороги не знал, а потому, добыв, не помню уж где, телефон Коньякова, позвонил к нему домой и попросил аудиенции. Я отчаянно трусил, боялся, что откажет, пошлет куда подальше или еще что-нибудь в этом роде, но меня мягко и, как мне показалось, радушно пригласили зайти сегодня же вечером.

Вечером, преодолевая дрожь в коленках, я поднимался на пятый этаж панельной «хрущовки» на улице Челюскинцев неподалеку от вокзала «Новосибирск-Главный», где жил тогда Василий Михайлович.

Дверь открылась, и я увидел чуть выше среднего роста, широкой кости мужчину. Русые волосы его распадались над высоким лбом на два неравновеликих крыла. Чуть скуластое лицо его с правильными чертами и прямым носом освещалось умным пытливym прищуром серых глаз. Он крепко стиснул своей широкой ладонью мою руку и пригласил в кабинет. Там не было ничего лишнего. Письменный стол, диван и стеллажи с книгами по стенам. Очень много разных книг. У меня такой библиотеки тогда не было, и я с завистью оглядел это богатство. Хозяин перехватил мой взгляд и с затаенной гордостью сказал:

— Уж сколько лет собираю....

Он стал расспрашивать обо мне. Я что-то, сейчас уж не помню, рассказывал, а сам вспоминал, где же я видел этого человека. Но то, что видел, с каждой минутой разговора уверялся все больше.

Коньяков тоже внимательно ко мне присматривался и также будто вспоминал.

— Слушай, — наконец, не выдержал он, — а раньше мы с тобой никогда не встречались?

И я вспомнил.

Конечно же, встречались!..

Классе в шестом я тогда, наверное, учился. И появился у нас по осени новый преподаватель рисования. Эти же с пытливым мягким прищуром серые глаза и два русых крыла над высоким лбом, эта же широкоплечая фигура с крепкими широкими мужицкими ладонями. Карандаш в его руке казался хрупким. Учил он нас рисовать разные предметы: мяч, кувшин, бидон и тому подобное. Рисовать я не умел совершенно. А еще надо было, чтобы предмет получился объемным, выпуклым. Достигалось это правильным наложением светотеней. Последнее для меня было вообще чем-то запредельным. И потому, вместо стройного круглобокого молочного бидончика, из моего альбомного листа выглядывало какое-то перепачканное графитовыми штрихами страшилище. Василий Михайлович долго и недоуменно изучал мое творение, потом покачал головой и сказал:

— Смотри, это же так просто: надо только почувствовать, как ложится свет. Представь себе солнечный зайчик, блик. Он упал сюда... — Коньяков сделал несколько движений резиночкой по моей корявой штриховке. И все светотени сразу же легли на свои места. Он сделал еще несколько едва уловимых пазов карандашом и ластиком. — А контуры должны быть четче и жестче...

Я следил за его рукой, и нижняя челюсть моя отвисала сама собой. Страшилище на моих глазах превращалось в красивую и, главное, как настоящую, посудину, которую хоть сейчас бери в руки и иди с ней к молочнице тете Кате.

— Главное, точно увидеть, найти нужный угол зрения, поймать зайчик, — сказал Василий Михайлович, возвращая альбом с преобразившимся предметом.

Мне бы промолчать, сглотнув горечь обиды на самого себя, а я вздрогнул:

— Да, вам легко говорить, вы художник, а если у меня таланта нет!..

— Уметь рисовать и быть художником — вещи разные, — сказал учитель, задумчиво глядя на меня. — А талант... талант, я думаю, есть у любого человека — у каждого свой.

Больше он мне не докучал. Наверное, решил, что проку мало. Просто ставил тройки и все. А потом и сам исчез из моей жизни. (Черчение в седьмом вел уже кто-то другой). Я думал — навсегда. Оказывается, — нет...

Я напомнил Василию Михайловичу о той школьной поре.

— Да, действительно, я тогда в школе подрабатывал. Как раз только что училище окончил, и Новосибирск приехал покорять. Амбиции были, планы — куда там!..

Впоследствии мы не раз разговаривали с Василием Михайловичем по разным поводам (то для газетного интервью, то в радиобеседе, то просто за бутылкой) о его творческой судьбе.

Родился он 19 ноября 1927 года в Кемеровской области, в селе Уфимцево, работал в тамошнем колхозе, чуть позе — на заводе, в городе. Отсюда его призвали семнадцатилетним парнишкой на исходе Великой Отечественной войны в армию. Пришлось и ему немного повоевать — правда, за тысячи километров от главного театра военных действий, в Манчжурии, против Японии в августе 1945 года в качестве артиллериста. Демобилизовавшись после семи лет армейской службы, Василий Михайлович оказался в Ростове, где с «красным дипломом» окончил Ростовское художественное училище. Вот тогда он и отправился «Новосибирск покорять». Почему Новосибирск? Ведь у него был на руках свободный диплом, и устроиться он мог, где хотел. Но уже тогда он считал, что не сможет существовать в искусстве вне Сибири.

Начинал он как художник, станковый живописец, подавал большие надежды, и прочили ему хорошее будущее. Но в Новосибирске оказалась в то время целая плеяда талантливых молодых художников. Началась борьба за мастерские, хорошие заказы, за место под солнцем. Естественная, в общем, обыденка. Естественная для кого другого, но не для крестьянского парня, прошедшего, к тому же, суровую армейскую службу, да не лишенного еще и возвышенного романтического взгляда на жизнь, которому вся эта возня претила. Впрочем, и не умел он ввиду неистребимой природной совестливости локтями-то. Посему, наверное, и предпочел стать на время скромным школьным учителем рисования...

И вот мы встретились — бывший художник и учитель рисования и бывший его ученик.

Впрочем, почему «бывший». Просто художник. Открываю наугад повесть «Снегири горят на снегу» и читаю:

«На стеклах настыл мороз, матовый, без перламутровых блесков. Тронешь ногтем — и на подоконник посыплется сухая пыльца. А за окном, в стронциановом сиянии падает медленный снег, и не слышно шороха спускающихся снежинок».

Представляю себе крепкоморозную, в бледно-зеленоватом свете луны ночь и невольно думаю, что такую картину мог написать только настоящий живописец, способный двумя-тремя мазками создать запоминающийся образ.

Правда, к живописи Василий Михайлович после выхода первых книг действительно больше не вернулся. И в квартире его ни одной работы хозяина красками я никогда не видел. Однажды победив, живопись словом не оставила места кисти...

Но смена кисти на перо только на первый взгляд была внезапной и неожиданной. Дело в том, что любовь к живописи у Василия Коньякова всегда тесно сосуществовала с любовью к литературе, к поэзии. Он рано начал выступать со стихами в печати (кстати, и в Союз писателей был принят как поэт и прозаик), а потому печатная страница ему была так же близка, как и холст. Только в какой-то момент именно на печатной странице ему как художнику оказалось легче реализоваться и выразить переполнявшее его сочными красками, мажорное ощущение жизни. А в результате, родилась первая его повесть — «Цвет солнечных бликов», название которой вполне соответствовало этому полководью чувств.

Повесть, посвящалась студентам художественного училища и была во многом автобиографичной и исповедальной. Но это не исповедальность прозы раннего Анатолия Гладилина, или Василия Аксенова с их инфантильными героями, только что переступившими школьный порог. У Виктора Губарева, главного героя повести Коньякова, как и у ее автора, трудное деревенское детство и армия. Все это, конечно, не могло не отразиться на становлении молодого живописца, который, как показывает писатель, настойчиво ищет себя в жизни и в искусстве.

Не все удалось Коньякову в первом его произведении. Давали знать о себе нехватка мастерства и опыта. Но уже отчетливо проявлялась способность начинающего литератора видеть мир во всем красочном многообразии, ощущать дыхание и пульс жизни.

За первой повестью довольно легко написались вторая — «Не прячьте скрипки в футлярах» — тоже отчасти автобиографическая. А вот третья книга далась уже с немалым трудом...

Казалось бы, почему? Ведь в центре повести «Снегири горят на снегу» — тоже художник, тот же, в сущности, Виктор Губарев, только уже заматеревший, ставший профессионалом.

Андрей Уфимцев (так зовут главного героя «Снегирей») как бы продолжает его на новом жизненном витке. Да, но только мучающий обоих сакраментальный вопрос о предназначении художника и его месте в жизни из плоскости теоретической для Губарева переходит в конкретно-практическую плоскость для Уфимцева.

Переживая творческий кризис, Уфимцев едет в родную деревню, смутно надеясь, что обретет он здесь так необходимую ему уверенность в своих силах, увидит тут нечто такое, что сразу же расширит его горизонты. Но прежняя деревня ушла в прошлое, а новой он пока не знает. Однако даже и в знакомом с детства Андрей никак не может уловить что-то самое важное и существенное. Мир не стоит на месте, а «время требует от живописца ответить, что я думаю по поводу» того или этого...

Приступая к работе над «Снегирями», видимо, нечто подобное испытывал и сам их автор. Инерция успешного творческого старта стала гаснуть, кладовая прежнего жизненного опыта частично была опустошена, а новый материал просто так в руки не давался, требовал тщательного осмысления. И тогда Василий Михайлович решил оставить областной центр и уехать в глубинку. Он поселился в одной из деревень Новосибирской области. Здесь он нашел своих героев и вместе с ними пристально вглядывался в меняющуюся жизнь сибирского села 1960-х годов, стоящего на пороге научно-технической революции, несущей и свежие веяния, и проблемы.

А проблемы эти в повести «Снегири горят на снегу» занимают видное место. И рассматривал их писатель прежде всего с точки зрения той нравственной отдачи, какую несут в себе социально-экономические преобразования. Тревожило Коньякова и то, что с ростом материального благополучия ослабевают потребности людей в красоте и духовности.

Собственно, той же тревожной мыслью проникнута и написанная несколько позже повесть «Далекие ветры».

Не сходятся характерами отец и сын Чесноковы. Узко-прагматичному, заикленному на хозяйстве Семену, не понять Чеснокова-старшего — столяра и плотника с душой художника, обладающего даром видеть чудесное в самом обыденном. Каждый дом, выстроенный им в родном селе — светлое и радостное произведение деревянного зодчества. В каждом — частица его души.

«Деревня, как человек, — тоже зреет, строится, — рассуждает Чесноков-старший. — То быстро растет, как ребенок, то, набирая подростковую силу, матерееет и, возмужав, завершится, поставив последнюю точку. Деревня состоялась. И уж нельзя в ней сломать ни одного дома, нельзя сделать брешь, чтобы не сбить ее с полного дыхания».

Читаешь, и невольно встают перед глазами унылые кварталы современных типовых многоэтажек. И отчетливее понимаешь заложенную в подтексте мысль автора «Далеких ветров»: мало одного профессионального умения; оно должно быть обязательно одухотворено. Только тогда сможет родиться высокое Мастерство, благодаря которому человеческое бытие и движется вперед.

Тревога писателя по поводу дисгармонии между материальным и духовным, прагматизмом и красотой не замыкается на самой себе. Коньяков стремился найти свое решение этой проблемы. А выход он видел в том, чтобы натиску безудержного бездушного техницизма и холодного прагматизма должны в первую очередь противостоять истинные носители духовного — такие, например, как молодая сельская учительница Катя Холшевникова, прививающая детям любовь к родным местам, воспитывающая в них чувство прекрасного. Она убеждена, что жить по большому счету надо не для себя, а для людей.

Разуверившийся, было, в себе Уфимцев тоже, в конце концов, приходит к выводу, что суть деятельности истинного художника — быть со своим народом, служить ему своим талантом. Осознав эту, вроде бы, хорошо знакомую, но всегда актуальную истину, главный герой повести «Снегири горят на снегу» как художник вновь обретает самого себя.

Почти четыре десятилетия прошло с момента появления этой повести (1968), чуть меньше времени отделяет нас от «Далеких ветров», но многое из того, о чем задумывались их герои, не потеряло значения и поныне. Тем более что со временем трещина между материальным и духовным все больше и больше увеличивается, становясь просто угрожающей.

Примечательная особенность любимых героев Василия Коньякова в том, что почти все они в душе — художники.. Как очень точно заметил все тот же Чесноков-старший, «художник тот — у кого сердце смотрит». А оно «смотрит» не только у профессионалов Губарева и Уфимцева, но и у Бориса Лебедева — юного токаря из повести «Не прячьте скрипки в футлярах», у мальчишек из повести «Димка и Журавлев»...

Но прежде всего, относится это к самому Коньякову, который видит окружающее пронзительно-четко, выпукло. Глаза, лица, жесты, предметы — все у него в точно пойманном цвете, объеме. И не только внешность умел он запечатлеть, но и в психологию своих персонажей проникнуть, в потаенную их суть. Причем для этого ему бывало достаточно всего нескольких исчерпывающих штрихов.

Случалось и так, что какой-то поразивший его воображение предмет, деталь вдруг высекали творческую искру, которая воспламеняла замысел нового произведения.

Однажды зимой Василий Михайлович с маленьким сыном Димой оказались в пригородной деревне. Возле одного из домов стояла запряженная в сани лошадь. От нее шел пар, морда закуржавела. Сынишка остановился, стал внимательно разглядывать животное. А потом сказал «Пап, смотри, какие у нее красивые глаза, как мыльные пузыри». И писателя словно ударило — какое поразительно-верное сравнение! И он вдруг вспомнил далекое свое детство и подумал, что и он, и его друзья-мальчишки воспринимали лошадей именно такими: умными, красивыми, надежными товарищами. И до боли захотелось вернуться в прошлое, взглянуть на него глазами мальчишек той военной поры. В результате этого «удара» родилась прекрасная, полная тепла, сочных красок и поэзии повесть «Димка и Журавлев».

Впрочем, как и Господни, пути творческие и таинство возникновения художественных замыслов неисповедимы. У повести Василия Коньякова «Мужские дела», например, совсем другая история.

В одной из первых своих вещей «Не прячьте скрипки в футлярах» Коньяков рассказал лирическую историю о пареньке с оборонного завода, работающего «для фронта, для победы». А в начале 1980-х годов, когда широко звучала в советской литературе так называемая «производственная проза» Василий Михайлович решил как бы продолжить судьбу героя той давней истории про токаря Бориса Лебедева, а заодно попробовать разобраться, кто же он, «человек у станка» уже в новых условиях.

Однако тут писатель опять столкнулся с «сопротивлением материала». О Лебедеве военной поры он знал все из первых рук (в чем-то это была и его собственная судьба: некоторое время, перед армией, ему и самому пришлось побывать таким же Лебедевым, поработав на заводе). А вот о современном рабочем Василий Коньяков представление имел смутное. И ему страшно захотелось оказаться рядом с нынешним Лебедевым. И не в качестве стороннего наблюдателя, а побыть с рабочим классом на равных, раствориться хотя бы на время в этой среде, почувствовать себя в ней своим. И Василий Михайлович на несколько месяцев меняет профессию, устроившись токарем-стажером на один из новосибирских заводов. Впечатления этих месяцев и легли потом в основу его повести «Один раз увидеть», переименованную позже в «Мужские дела».

Как и в других произведениях Василия Коньякова, в ней также чувствуется и зоркий и тонкий наблюдатель, и мастер словесной живописи. А вот глубокого художественно-психологического проникновения и осмысления, каким отличается, скажем, повесть «Снегири горят на снегу», или непосредственной естественности чувств, какой окрашены «Не прячьте скрипки в футлярах», здесь не хватает. «Мужские дела» больше напоминают беллетризованный социологический очерк, нежели полноценное

художественное произведение. Тем не менее, и оно, как и все предыдущие, пронизано верой писателя в человека-творца, человека-созидателя.

Как человек и художник очень совестливый (я вообще почти не встречал в своей жизни людей с такой обостренной совестливостью) Василий Михайлович чутко реагировал на малейшие изменения в общественном климате и не мог пройти равнодушно мимо того, что мешало жить и реализовывать свои возможности честным, талантливым и добрым людям. И гневно в таких случаях звучал его писательский голос. Яркой тому иллюстрацией может служить один из поздних рассказов Василия Михайловича «Участник ВОВ».

Его герой, пенсионер и участник Великой Отечественной войны Судоплатов, однажды обнаруживает на своей картофельной делянке следы воров. А позже встречает непрошенных гостей с ружьем. Действие развивается с динамизмом и напряжением хорошего боевика: Судоплатов обращает воров в бегство и сжигает их машину. Да только вот не радуется ему эта победа. Может, потому, что наказанные им воры — лишь капля той злобной силы, которая тяжелой грозой тучей скапливается над его головой. Что за сила? Да захлестнувшее страну пренебрежение к морали и закону, вседозволенность и разнузданное хамство, циничный произвол одних и бесправная униженность других...

На небольшом пространстве рассказа Василию Коньякову удалось нарисовать колоритную и емкую картину малоприятной постперестроечной действительности. На ее фоне особенно остро понимаешь состояние Судоплатова и сочувствуешь ему. Разуверившись в государстве, которое он когда-то защищал, но которое сейчас не в состоянии оберечь его, старый солдат навсегда забрасывает свои боевые награды в дальний угол чердака.

И в этом рассказе, и в последней своей вещи — маленькой повести «Тетрадь ученова», где рассказывается драматичная история молодого научного сотрудника, решившего от безысходности переквалифицироваться в предпринимателя, Василий Коньяков продолжал отстаивать то, за что боролся всем своим творчеством, — человеческое в человеке. Только в этой, поздней поре своей творческой жизни, он уже гораздо жестче, непримиримей, и отнюдь не светлыми, не радостными красками, как когда-то ранняя проза, наполнены последние его произведения. Болью, гневом и отчаянием веет от них...

Жизнь Василия Михайловича Коньякова не была усыпана розами. Из-за природной совестливости и скромности он всегда оставался в тени более шумных, напористых, более самоуверенных и удачливых коллег. И потому, наверное, уровень его официального признания вряд ли соответствовал истинному масштабу его дарования.

Но однажды фортуна повернулась к нему лицом. В 1996 году Коньяков стал лауреатом премии имени Н.Г. Гарина-Михайловского. Это надо было видеть, с какой радостью и гордостью воспринял он это событие. Хотя, казалось бы, подумаешь, премия городского масштаба. Не Нобелевская же! Но Василий Михайлович родился, вырос и прожил большую часть жизни в Сибири, в Новосибирске. Здесь он писал свои повести о родной земле и для своих земляков. Поэтому и премию, которой отмечают сибирских писателей и которая была первой (как очень скоро окажется, — и последней) весомой наградой в его многотрудной творческой деятельности, Коньяков воспринял поистине как Нобелевскую.

Середина 1990-х годов была очень тяжелой порой. Жилось большинству новосибирских писателей, в том числе и Коньякову, трудно, бедственно, можно сказать. Ни публикаций, ни гонораров, ни каких-то других источников доходов. Так что пенсионеру Коньякову премия могла стать хотя бы на время, хотя бы небольшим подспорьем. Но Василий Михайлович нашел ей на удивление многим другое, совсем непрактичное, а на взгляд суровых реалистов, и вовсе никчемное применение. Он собрал всю Новосибирскую писательскую организацию и прямо в стенах Союза устроил для полуголодных коллег банкет, на который вся премия и ушла. Василий Михайлович по жизни алкоголем особо не увлекался, так что не пьянства ради он это сделал. Он хотел, чтобы даже в это мрачное безвременье у людей был праздник. Праздник, который стал бы теплым лучиком, обогрел, сблизил творческих людей, как не раз бывало в писательских застольях, дал надежду. И Василий Михайлович этот праздник, о котором братья-литераторы долго еще потом вспоминали, устроил. И в этом поступке проявился он весь: красивый, добрый, душевно щедрый, любящий людей, особенно людей талантливых, творцов, человек. Таким, думаю, и в памяти многих остался.

Умер Василий Михайлович 8 ноября 1999 года довольно неожиданно, хотя и давали знать о себе разные болезни, и все чаще местом его обитания становились то госпиталь для фронтовиков, то санаторий. А неожиданно потому, что не более чем за месяц до этого мы сидели с ним в пустом и голом парке неподалеку от Союза писателей. Шуршала по асфальту опадающая листва, почти никого, кроме мамаш с колясками да случайных прохожих, в этот утренний час не было. Мы посасывали из бутылок пиво, и Василий Михайлович с какой-то, мне показалось, обреченностью тихо говорил:

— Боже ж ты мой, Леша, сколько я не успел сказать! Сколько осталось не написанным! Ощущение такое, что до сих пор берег я силы для своих «нетронутых полей». О деревне мало сказал. Говорил о ней как-то выборочно, а целая страна сибирской деревни так и осталось мною не взятой. Ни строчки не написал об армии, хотя всю жизнь собирался. Все-таки семь лет армейскую лямку тянул, и есть у меня своя война. В общем, как

говорится, чернильница большая, а я пока только обмакнул в нее перо... Теперь уже, наверное, не напишу.

— Ничего, Василий Михайлович, — бодро отвечал я, — какие твои годы, напишешь еще, о многом напишешь!

— Не знаю, не знаю... — качал он головой: — Вряд ли уже успею ...

Осенняя хандра, думал я тогда, никак не предполагая (пиво же со мной сидел спокойно пил!), что и месяца не пройдет, как я его больше не увижу.

Не написал. Не успел. Он вообще в сравнении с иными писучими и по кроличьи плодовитыми литераторами работал медленно, трудно и в общей сложности выдал на гора немного. Но в каждой его вещи чувствуется «зрячее сердце» истинного художника, на всем сделанном им лежит печать глубокого таланта.

А. Горшенин